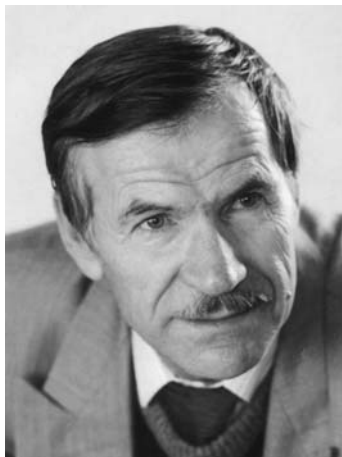


НИКОЛАЙ СМИРНОВ



УГОЛ ДОМА СВОЕГО...

Из книги “Рассказы наших дней”

РАССКАЗ

Теперь в Кваркуше мало кто помнит Гришу Яненко, даже тех, кто помнил его, и тех не знают: жизнь быстротечна — кто уехал, кто упокоился навсегда, а он ведь был, незаметный в своей тихой повседневности человек. Скрипит себе размеренно, перемещается в пространстве и времени — как заведено. Но именно такие — тихие, правильные, скорей других снимались с насиженного места и устремлялись в даль светлую, манящую, — паковали скарб, сообразив про безысходность сельского бытия, разложив все обстоятельно по полочкам, развесив мысленно по стенам.

Гриша трудился сварщиком в МТС, машинно-тракторной станции, за возведенным квадратом забором у околицы, рамочно проштемпелеванным столбами, за которым гаражи, холодный и тёплый, мастерские, видимо, в тридцатые коллективизационные годы обоснованные, а в последующие хрущёвские — долой упразднённые.

Обитал Гриша в домишке о два оконца неподалёку от станции. Жену его и детей Александр Вершинин, вернувшийся сюда на постоянное жительство из Среднего Приобья, именуемого нефтяным, не помнил; да и были ли таковые вообще в крохотной келейке Яненко? — Если и были, то слыли, как говорится, а вот самого Гришу Александр запомнил отчётливо с детских своих пор: упорядоченный — в шаге, разговоре, жестах, одежде человек. Из скромности ли, бедности и экономии сопутствующей, такой положительный

СМИРНОВ Николай Павлович — сибирский писатель, главный редактор газеты “Литературный Нижневартовск”, член Союза писателей России, председатель Содружества писателей Нижневартовска, сопредседатель Ассоциации писателей Урала. Живёт в Нижневартовске.

получился? Хмельного питья не принимал ни граммульки в любой ситуации. Образцовый, одним словом.

И вот канул навсегда Гриша, булькнул камешком в омут, ни поплавка тебе, ни ряби на водиче времени от Яненко, во всем положительного труженика Кваркушской МТС. Убыл вроде в Центральную Россию на стройку-постройку коксохимическую, отплыл тихо, как тихо и жил. При Советской власти много строили, возводили под восклицания и песни, бряцанья гитарные да шквальные-авральные зазывы добровольцев: мол, надо верить, любить беззаветно, и, что примечательно, — видеть солнце порой предрассветной. Без этого ни счастья не сыскать, ни коммунизма. Только так: вперед, с песней взбодряющей следует править дело правое.

Яненко и снялся с насиженности кваркушской и подался на стройку. Вдруг просеклась искоркой на ветру, порхнула пташечкой весть, что на стройке той, ставшей уже действующим коксохимическим комбинатом, выжег электросваркой Гриша Яненко оба глаза, ослеп навсегда. Беда-то! И поохав слегка, деревня тут же и поумолкла об этом. Ведь упокоились многие и многие, дело обычное: Бог дал, Бог взял. Все там будут, лишь не в одно время, смерть причину найдёт и находит постоянно. Яненко всё-таки жив, а этим многим и бесчисленным с погоста уже не восстать, не прокашляться и не отведать щец с кислой капустой, какие предпочитали в Кваркуше.

Минуло какое-то время, год-два, может, больше или совсем внушительно, Гриша напомнил о себе сам: объявился вдруг с сопровождающей — монашеского вида женщиной в длиннополой одежде, может, дочерью... Объявился он в задымлённо-синих очках, с белой тростью в руке, словно и не человек прежний, полнокровный, а подобие оно, тень только. Вершинину он напомнил Рустама Тагировича Хусаинова — незрячего школьного преподавателя в северном городке, утратившего зрение при взрыве в шахте. Тот учитель работал до последнего, читал физику и химию и скончался от рака — шахта отправила ускоренно на тот свет: хватил радиации ещё в рабочие свои годы.

С Гришей Яненко Александру довелось встретиться вплотную на основной улице, именуемой по старинке Карломарксовой, женщина в длиннополой платье спросила про домик электросварщика, уцелел ли? Александр сказал, что да, уцелел, и показал наотмашь: “Да вон он за дорогой виден...” Вызвался проводить. Слегка тронул Гришу за локоть перед кюветом, но тот отпрянул конвульсивно, как от электропровода, нащупал тростью боковину — скок и легко перепрыгнул неширокую канаву, словно озарённый внутренним светом произнес: “Я помню” — будто только себе самому и признался. Зашагал широко, уверенно, без помощи трости и поводырей, словно прозревший. К бледному его лицу прихлынул румянец, стан выправился. Молодец молодцом, прежний складный селянин, на всех пуговицах и в сапогах, что называется.

Вышел к углу дома и потрогал ладонью от времени и непогод слегка затрухляевший, но ещё справный бревенчатый схват, как нечто живое, погрузнел, поскорбел молча сосредоточенно, да вдруг затрясся в рыданиях, слёзы катились и катились из незрячих глаз его, лицо меняло выражение до детски безмятежного, доверительного в открытости своей, когда наружу всё, что есть, без утайки.

Слов и не требовалось, без слов очевидно: вернулся селянин в изначальное и минувшее, куда по-настоящему возврата уже не бывает, так хоть посязая мгновение одно, прикоснуться к углу родного вместилища, однажды покинутого.

— Пелагея, — тихо, словно проснувшись, сказал сопутнице, — тут я человеком был истинным. А польстился в сиюминутку... Погиб я, Пелагея, нет меня прежнего и никогда уже не будет. Исполнил последний завет, а дальше — зачем жить?

— Надо жить! — возразил Александр и поведал к месту и времени о северном школьном педагоге Хусаинове. — Живи! Просто так живи! И во тьме можно видеть вечное, видел же незрячий Рустам Тагирович, окрылялся и вдохновлялся.

— Он не просто жил — творил, — возразил Гриша. — Учёный он, мог лекции свои наизусть декламировать. А вот электросваркой без глаз не продекламируешь...

— Рустам Тагирович не был учёным, но стал им, захотел стать. И ты найдёшь занятие, у Бога и людей их немало, молитва, например. Тоже — труд. Пелагея с интересом внимала диалогу.

Она оказалась гражданской женой Яненко, ставшей ею после кончины законной супруги Гриши, из жалости приобщившейся к незрячему — для обихода, а себе одинокой — для опоры душевной: кого-то любить и жалеть необходимо. Чужого горя не отринула.

Познакомились они накоротке. Александр многое узнал о Грише, почти всё из несложной его стези, одинаковой и драматичной, из таких вот складывается стезя народная, что всегда на риске излома, шершава она и непредсказуема — судьба простого человека, который по сути и есть самый главный народ, от него всё — лучи и затмения, немощь и сила, вздох и вскрик, основа государства...

В дальний коксохимический городок увозила Пелагея Гришу, вероятно, навсегда, и радовалась тому, что есть о ком заботиться и кого жалеть; он много уверенней вчерашнего шагал Карломарксовой улицей, похоже, открытый и вдохновлённый свиданием со своим старым домом. Угадывалась в нём явная перемена. Угол дома и встречи-беседы будто растворили вгнездившееся в него уныние, будто он вместе с придорожным кюветом, без поводьев и трости, самостоятельно, перешагнул барьер безысходности. Чётче, ярко-цветней заработало воображение и повело вперед.

Пыхнув дымком, укатил автобус. Вершинину до взгорка с недостроенным храмом рукой подать, он и отправился к недавно обретенному поприщу своему, размышляя неотступно об уехавшем односельчанине и о первоматери жизненной, какая привела сюда из дальностей российских слепого Гришу-электросварщика.

Чего только не случается на белом свете! А ведь случается, и ничего с этим не поделаешь. Убывают в дальние земли, под чужое небо, предав своё и своих. Сколько их таковских разбрелось по белу свету, тьмы... тьмы. Бежали, бегут и будут бежать, не вспомнив впоследствии угла дома своего и придорожного кювета из детства.

ПОЗДНЕЕ ПОКАЯНИЕ

РАССКАЗ

Командировка выпала неудобная — на трассу железной дороги. Дорога еще строилась, за Тобольском ни километра рельсов. Ольхин, счастливо одолев первую половину пути на подвернувшейся стройбатовской мотодрезине, дальше добирался по тракту попутными машинами, а под конец и вовсе отправился пешком, но тракт прихотливо вильнул в сторону от трассы, а Ольхину требовалась именно она, матушка.

Дело было ранней весной, всюду полосы талого снега, разъезженные гусеничной техникой колдобины. И как ни берёгся, к вечеру до колен захлестался водой и грязью. Устал предельно. А вечер густел, сумерки перетекали в ночь. Пустынно, враждебно, дико кругом. Возле просеки — две стены леса, довольно плотного, чаща дремучая, неприступная.

Силы покидали Ольхина, настроение портилось, он с надеждой всматривался в сгущающиеся сумерки, но не видел ни огонька, только — неуютность, мозглода и обьявившийся внезапно зябкий засыревший ветерок. Кто знает, что впереди — вдалеке от людей. Трасса, огибая возвышение справа, так называемый увал, совершила заметный вираж и вбилась в сумрачный ельник, в укроме которого открылось несколько жилых вагончиков, что не редкость на таких трассах.

Ольхин постучал в домик, где теплился огонёк — остальные, похоже, пусты. И так оно и оказалось. Головной механизированный отряд ушёл дальше, запоздал только бульдозерист Нифонтов с женой Шурой, обоим где-то около тридцати — нестарые ещё. В Фёдоре смотрелась армейская подобранность, он, как выяснилось, служил водителем танка, всю жизнь имеет дело с техникой. Поприще это его корневое, с деревенских времён. Шура управлялась комендантом мехколонны, проще говоря, завхозом.

И так они перемещались с трассы на трассу, с пикета на пикет, по-фронтальному, как в ту пору перемещались многие первые строители, ничуть не заботясь о личном быте, ведь, как пелось тогда: “Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня”.

Нифонтов, по угрюмому своему характеру, постоянно выражал застарелое недовольство, вплоть до забастовок в родной мехколонне. Недоволен был зарплатой, изношенностью бульдозера, дефицитом запчастей, слабым продовольственным снабжением, собственной женой, самим собой, прочим и прочим. Жизнью вообще. Не стронешь! Кажется, не находилось ничего такого, что не подверглось бы его критике — до ценообразования, колхозной закрепощённости и даже круговращения планет вокруг Солнца. Что обещали и что дали управленческие пустые головы? — рассуждал он. Перечислял пороки, угадывая точно в бровь и глаз.

Ольхин слушал эти разговоры своего хозяина, у которого остановился на ночёвку, да понимал и сам — ничего путного ни там, ни сям, ни здесь, ни всюду: верхи привыкли управлять никудашно, низы жить соответственно. Но у Ольхина в отличие от пессимиста Нифонтова была своя особая цель, он ею подпитывался и при всех личных неурядицах надеялся выплыть к заветной гавани, не сбиваясь окончательно в сторону от больших путей. Хотя какая-то ориентировка для смысла жизни. Он упрямо верил в предначертания свыше, оставаясь рядовым сотрудником НИИ. Всякие морки неизбежно преходящи, значительность цели заменит внешнее благополучие, служебный рост. Вот грянет его свершение — разом окупит затраты.

Нифонтов же и свою исхудалую, жердястую жену Шуру ревновал к каждому случайному, даже к принятому аварийно на одну ночь Ольхину, уже за то, что простирала, прополоскала захлёстанные грязью брюки и носки гостя, участливо по-бабьи посозерцала, как тот уминает пшёнку с подсолнечным рафинированным маслом, посозерцала и посострадала, но Фёдор и тут приотпустил брови, насушился. Посуровел. И вот он мало-помалу изложил гостю всю немудрёную свою “философию отрицания”. Да и что воспринимать благодушно? — Послевоенную безотцовщину, нищету, пьянь, откровенную дурь? У них полдеревни раскулачили и выслали на север, в те самые места, где открыли нефть и газ и куда ныне устремлялась магистраль. Лучшие работные крестьянства разорили, пустили на ветер фамильные гнезда. В колхозе же ничего не платили, перебивались только подсобным хозяйством, тянули из себя последние жилы, набивая горб и хвори неминуемые. Сверстники Нифонтова и тем более по возрасту превосходящего Ольхина рано побросали школу, без руля и ветрил теряли себя, хулиганили, попадали в тюрьмы. Лишь немногие уставались, и то в городе, навсегда распрощавшись с сельщиной.

Так оно и было. Но для каждого было по-разному, индивидуально, что ли. Ольхин сумел окончить институт, осел в Тюмени. Сноровистей лавировал в обстановке. Нифонтову оставалось просто жить в громе и грохоте механизма, лязге гусениц, одуряющей перегорелости соларки...

...Тепло от “буржуйки” Ольхину, а неуютно ему у Нифонтовых от стенаний Фёдора, весь как на иголках. Утром чуть свет он с облегчением от

мысли, что дело не только в общей обстановке и личных обстоятельствах — в осмысленности пути и собственной устремленности, покинул споминутное пристанище таёжного пессимиста. Одним критиканством не стоит жить, нет. Лучше освежая ветхое, добавлять в него своё значимое. автограф вечного. Не уносимым ветром быть, но видимой издалека фигурой, — твердил он снова и снова, как молитву.

Да, с заносами этот Ольхин был — инженер из филиала “Сибгипротранса”, в шутку и серьёзно именовал он себя человеком-идеей, слыл максималистом в инженерной среде: всё — либо ничего! Не довольствоваться малым! Пока что довольствовался, но лишь пока. Так он считал.

На бульдозере Нифонтов подвёз его до места, где укладывали бетонные трубы для стока воды, ради чего обосновался целый выездной вагон — городок строительно-монтажного поезда, и сосредоточилась здесь техника мехколонны из Тобольска, субподрядчика на трассе.

И пока Ольхин неделю занимался здесь привязкой водосливов к местности, часто видел Фёдора, всегда сумрачного, замкнутого. Казалось, он недоволен был и на самого себя за недавнюю откровенность перед гостем, едва лишь кивал на приветствия и отмалчивался, напуская непроницаемый вид. Слова не выбежь из парня.

Занятый стоками, в которых из-за бурного паводка и вязких глин не ладилось, Ольхин не очень-то и жаждал сближения. Новизны хватало и без Нифонтова, знакомств через край, как воды в снеготалицу. Целый день суета монтажников, рёв техники, в дополнение ко всему экстремальному — сторел вагончик. На глазах у всего честного народа занялся пламенем. А в нём походный скарб трассовиков... Не спасли ничего. Пришлось экстренно радировать в контору, что за сотни километров в посёлке между Тюменью и Тобольском.

Вокруг голые отлоги холмов, как лбы гигантских доисторических животных, кое-где редкие лески по склонам, ржавая жижа в буераках, подмывавшая бетонные основания, авралы с криками и матерщиной, игра в карточную свару, котлопункт, где варят обеды сразу на всех, другой точки общепита нет. И всякое такое прочее, заключающее в себе понятие “трасса”. Всё это приобщало Ольхина, в унисон его воодушевлению, к великому — магистрали на север!

Великим в ту пору жил не один он, окрыление владело многими и скрашивало, отчасти оправдывало походный неуют. Кто-то из завязых романтиков вёл дневник с подробными умозаключениями о сущности человеческого бытия; иные выражали свои настроения под гитару или выпивками, но почему-то больше всего запомнился угрюмоватый бульдозерист с его жердястой женой... Где он сейчас, что с ним? — спустя годы задавался вопросом Ольхин. И вот он занялся поисками его. Тщетно. След Нифонтова затерялся. Построилась дорога, рассыпались в перестройку производственные коллективы, что кому до Нифонтова и коменданта Шуры, их таких, безымянных, прошли северным сибирским путём тысячи.

Однажды Ольхин завернул на литургию в храм одного маленького городка под Екатеринбургом, куда забросила невзначай необходимость, и здесь он, умевший слушать и наблюдать, уловил что-то знакомое в бородатом священнике Феофане: “Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя... Святой Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас...” — тембр... интонации... жесты... но как все-таки преобразился! — В нём торжественность и печаль, скорбь и величие, смирение. Голос возносился под своды, падал обратно и растекался по храму, обязывая внимать благоговейно совершаемому.

Дождавшись конца литургии, Ольхин протиснулся к священнику и слегка сбивчиво произнес: “Фёдор, ты... Батюшка... Помнишь трассу, дальний пикет за Тобольском? Где Шура?” — В лице священника произошла перемена, словно волна незримая прокатилась. Нифонтов, а это был точно он, замешкался, что сказать, попросил обождать на улице.

Ольхин подождал.

Нифонтов вышел к нему через боковой придел уже в “штатском”, жестом указал на “Ниссан” кремового цвета (неплохо живёт батюшка) и сел за

руль. Они выехали за город, на лужайке у небольшого озера Фёдор остановил иномарку и выпростался из кузова, заметно расплывшийся. Слегка присклонил голову — потушился, должно быть, собираясь с мыслями: так рассудил Ольхин и хотел услышать исповедь пессимиста — мотивы его воцерковления. Не ошибся.

С Шурой они расстались из-за его постоянных придинок, она покончила с собой — снотворным, что ещё больше удручило. С расстройством психики Фёдор попал в диспансер, лечился долго. Видел мир только в чёрных тонах. Маниакальная депрессия, — именовался диагноз или что-то в этом роде. Просвета не обозначалось. Какое-то время бомжевал. Но однажды встретил священника — бывшего моряка-штурмана дальнего плавания, собираемого пожертвования на восстановление храма Покрова, и приобщился к Божьему промыслу, вдвоем потянули подвижническую лямку. Время было перестроечное, церковнослужителей не хватало. Храм восстановили, и его соратник по богоугодному делу предложил прислуживать ему на литургиях. Он и прислуживал исправно, воцерковился мало-помалу, с верой во Всевышнего и ради Него живёт и служит. Видит теперь свет отовсюду, обрёл в Боге смысл и счастье, ибо милость Его всемогуща, знает, кому и когда ниспослать благодать. Пессимизм, занудливость — это от дьявола, этим увлечёшься — в трясины заберёшься.

Так он, Фёдор-Феофан, сказал. Сказал, что скорбит безмерно о преждевременной кончине рабы Божьей Александры, которую сам ускорил, скорбит о чадах, потерянных для него лично и Всевышнего. И всему причиной его изначальное жизненеприятие, что подкосило его.

Солнце опускалось за лес. В озере плеснула крупная рыба. С горловым криком и свистом крыльев пронесли утки и плюхнулись невдалеке.

— А вы-то что? Как? — спросил Фёдор у Ольхина.

— Я-то?! Стремясь за великим, растерял необходимое обыденное. Утратил семью и здоровье, а великого не обрёл. Всё где-то за горизонтом, недосягаемое чудилось. Но не стоит всё это одного свежего ветерка, занимающейся весенней травки, золотой осени, ребячьего смеха, дружеских пожатий. Просто жизни. Жизни обычного смертного, всего того, что дарует Бог, чтобы ты добрым действием отвечал людям на земле и самой земле. Двигал вперед жизнь.

— Верно, брат, верно, — тихо отозвался Фёдор-Феофан, — обычное и есть самое главное, вместе с ним и благодатью Божией естество живое всесветно и неординарно строится. Воцерковился я и увидел свет-смысл: служение Отцу и Сыну и Святому Духу... Ничего выше этого нет, служить Ему — значит, служить Жизни. Каждый час дорог...

Так говорил этот простой русский мужик в облегчении от принесённой им исповеди и позднего своего покаяния. А ровно через сутки он скончался во сне... Его погребли на монастырском погосте, с отпеванием и акафистами. Над могилой водрузили крест со славянской вязью на крестовине: “Иже есть Бог и время, и мы в нём грешные, благодатью спасённые, восстаём из пороков и предстаём обновлёнными для вечности. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, и ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь”.